

КЛЕПОВ — ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА



Анатолий Клепов

ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА

«Автор»

2026

Клепов А.

ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА / А. Клепов — «Автор», 2026

Реальная судьба юнги Северного флота Виктора Клепова. Апрель 1945-го. Шпрее кипит от разрывов. На борту хрупкого полуглиссера под шквальным огнём стоит 15-летний юнга. Задача смертников — перебросить в центр Берлина 16 тысяч солдат. Лодки гибнут одна за другой, но этот мальчик непостижимым образом останется жив. Ноябрь 1941-го. За четыре года до этого его отец принимает свой смертный бой. Московское ополчение: 800 музыкантов, архитекторов, бухгалтеров. Одна винтовка на троих. Беспощадный приказ: задержать врага хотя бы на час. Батальон навсегда ляжет в мерзлую землю. Но он — выживет. Август 1991-го. Империя рушится за три дня. 20 000 000 коммунистов, 15 000 000 комсомольцев, миллионная армия, всемогущий КГБ — все молчат. То, что веками создавалось кровью предков, предано и сдано в оглушительной тишине. Пронзительная семейная сага о связистах и криптографах. Как выжить там, где смерть неизбежна? И как жить дальше, когда твоя Родина уничтожена без единого выстрела?

© Клепов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Флажки на столе	5
Глава 1. Воскресенье	8
Глава 2. Перрон	13
Глава 3. Осназ	18
Глава 4. Восемь метров	29
Глава 5. Береги	38
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Анатолий Клепов ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Пролог. Флажки на столе



Я пишу эту книгу — и передо мной на столе лежит кожаный чехол. Потёртый. Тёмно-коричневый. С медными заклёпками. Внутри — два флажка. Жёлто-красные. Выцветшие. Древки стёрты до белизны чужими руками. Не моими.

Я пишу о своей семье давно. Четыре поколения — и у каждого одна профессия, названная разными словами в разные эпохи. Прадед. Дед. Отец. Я. Радиоразведка, криптография — в самом широком смысле этого слова: слышать то, что не предназначено для чужих ушей, и молчать о том, что услышал. Есть другие книги — о предках, о шифрах, о тайнах, которые государство до сих пор предпочитает не называть вслух. Выйдут ли они все — не знаю. Это не в моей власти. Некоторые вещи пишутся в стол. Некоторые вещи ждут своего времени. Время — не всегда при жизни автора. Но эта книга — другая.

Эта книга не содержит государственных тайн. Она не требует грифов и согласований. Она содержит только человека. Моего отца. Виктора Ивановича Клепова из Калуги. Юнгу Соловецкой школы, которому было пятнадцать лет — по документам шестнадцать (но это отдельная история), — когда он стоял на борту деревянного быстроходного полуглиссера, который мчался в апреле 1945 года к центру Берлина и махал этими двумя кусками ткани под пулями немецких снайперов. Того самого мальчика, который исправил цифру в метрике химическим

карандашом, потому что государству нужны были связисты, а ему нужно было на войну — туда, где был отец. Потом этот мальчик стал полковником КГБ СССР. Его фотография висит в Зале Славы российской радиоразведки. Но это — потом. Сначала был пятнадцатилетний мальчик с двумя кусками жёлто-красной ткани над Шпрее. И эта книга — про него.

Наша семья держала связь. Это было наследственным — как цвет глаз или форма рук. Прадед служил в Первую мировую. О нем я написал в своей книге «Шифр предательства». Дед — во Вторую мировую войну. Каждый в своё время, каждый своими инструментами. Но всегда одно: держать нить между теми, кто стреляет, и теми, кто командует. Между окопом и картой, где двигают совсем другие флажки — бумажные, по фронтовым картам. Отец — семафором в оконном проёме, когда рация умерла и больше не было ничего, кроме двух кусков жёлто-красной ткани и рук, которые не имели права дрожать. Я — шифраторами. Потому что связист без связи — это просто человек в пустоте. А война бывает разная — не только та, где стреляют. В любой из них надёжная криптографическая связь — не преимущество. Это условие существования. В начале девяностых, когда страна трещала по швам и через банковские каналы шли фальшивые авизо — финансовое оружие, которое могло уничтожить Центральный банк России тихо, без единого выстрела, — я разработал шифраторы, которые закрыли эту брешь. Страна этого не заметила. Так и должно быть — хорошая защита невидима. Потом был один из первых в мире криптографических смартфонов — раньше, чем Стив Джобс показал миру первый iPhone. Уникальные шифратор, которые сегодня работают в шестидесяти четырёх странах мира.

Инструменты менялись. Задача — нет.

Отец махал флажками, чтобы пехота слышала флот. Я создавал шифраторы, чтобы государства слышали друг друга — и только друг друга, без чужих ушей. Четыре поколения. Одна профессия. Разные инструменты. Одна задача. Нить не оборвалась.

Им было по пятнадцать и шестнадцать лет. Государство дало им бескозырки и рации. Два куска сигнальной ткани и ключи морзянки. Задачи, которые не решались иначе, — ибо только мальчики не знали, что это невозможно, и поэтому делали. Детство им никто не вернул. Никто не спросил разрешения его забрать. Эта книга — о том, как это было. Об Иване Клепове, Викторе Клепове. О Соловках и Шпрее. Обо мне, когда память о подвигах деда и отца помогла мне выжить в очень трудное время. О двух кусках выцветшей ткани, которые лежат сейчас передо мной на столе — и которые однажды держали руки пятнадцатилетнего мальчика над горящим Берлином. Руки не дрожали. Я знаю — он сам рассказал.



Клепов Анатолий Иванович. Подполковник инженерно-технической службы. Обеспечивал кодированную связь с космонавтами из Центра Управления Полетами (ЦУП). В том числе с Юрием Гагариным во время его первого полета в апреле 1961 года.

Глава 1. Воскресенье

22 июня 1941 года. Калуга.

Витька проснулся от запаха пирогов.

Не от голоса матери, не от солнца в окне — от запаха. Он пробивался сквозь закрытую дверь кухни, тёплый, с привкусом капусты и жареного лука, и Витька ещё не открыл глаза, а уже знал — воскресенье. В будни пироги не пекли.

Он лежал и не двигался. За стеной сопел Анатолий — младший, пять лет, спал всегда на спине, раскинув руки, как будто падал куда-то и не долетел. В соседней комнате девчонки — Наташа, Галина, Зина — уже шептались о чём-то своём, девчоночьем, непонятном. Голос матери — низкий, ровный — звучал на кухне.

Отца не было уже неделю.

Уехал в прошлое воскресенье — рано, до завтрака. Витька проснулся от звука двери и вышел в коридор в носках, сонный. Отец стоял у порога с вещевым мешком — не чемодан, не командировочный портфель, а именно мешок, армейский, серо-зелёный. Застёгивал пуговицу на воротнике.

— Пап, ты куда?

— По делам, — сказал отец. — Спи.

— Надолго?

Отец посмотрел на него. Не ответил. Потрепал по голове — быстро, как будто торопился — и вышел.

Мать стояла в дверях кухни. Витька обернулся к ней.

— Мам, куда он?

— По делам, — сказала мать. Голос был ровный. Слишком ровный.

Витька знал этот голос. Этим голосом мать говорила, когда не хотела, чтобы дети видели — что именно, Витька не всегда понимал. Просто знал: когда голос такой, не спрашивай.

Он не спросил.

Скрипнула половица у порога — та самая, крайняя, которую отец собирался починить уже второй год и всё не чинил. Витька помнил этот скрип как собственное имя. Но теперь скрипела она не под отцом — просто оседал дом, дышал по утрам, как дышат старые дома. Витька услышал этот скрип, и что-то кольнуло — коротко, непонятно.

Он открыл глаза.

Потолок был белый, с маленькой трещиной в углу — трещина появилась прошлой зимой, когда ударили морозы, и с тех пор не росла и не уходила, просто жила там, в углу, привычная, как всё остальное в этом доме.

Витька потянулся, встал.

Половица у его кровати тоже скрипела — но по-другому, тоньше. Он знал, как наступить, чтобы не скрипела: на самый край, у стены. Научился года три назад, когда начал вставать по ночам читать — мать не разрешала после десяти, а книга не отпускала.

В коридоре стоял велосипед.

Витька остановился и посмотрел на него. Велосипед был взрослый, отцовский — тяжёлый, чёрный, с никелированными крыльями над колёсами. Витька умел ездить, но брал только с разрешения. Спросить было не у кого.

Он взял велосипед молча. Отец бы разрешил.

Сегодня они с Колькой Устиновым договорились на реку. Рыбалка, потом велосипед — до мельницы и обратно. Колька говорил, что у мельницы берёт голавль, крупный, надо только найти правильное место. Витька в голавля не очень верил — Колька всегда говорил про круп-

ного голавля, а ловил плотву — но на реку хотелось. Лето только началось, июнь был тёплый, и воскресенье лежало впереди целое, незанятое, как чистая тетрадь.

Он прошёл на кухню.

Мать стояла у плиты — спиной к нему, в белом переднике с цветочками по краю. Волосы убраны под платок. Руки двигались быстро, привычно — доставала пирог из духовки, перекладывала на полотенце.

— Встал, — сказала она, не оборачиваясь. Всегда знала, даже не слышала.

— Встал, — сказал Витька.

— Умойся сначала.

Витька умылся над тазом, вытерся полотенцем, сел за стол. Стол у окна был на четыре стула, но пятый — отцовский, тот, что у стены — стоял чуть в стороне, как обычно, когда отец уезжал. Мать убирала его не к стене, просто чуть отодвигала — так что он оставался в комнате, но не за столом. Витька не знал, зачем она так делает. Может, чтобы дети не спрашивали лишнего.

Завтрак был шумный — как всегда, когда собирались все.

Наташа — старшая из сестёр, пятнадцать лет, серьёзная, как маленькая мать — разливала чай. Галина, двенадцати лет, уже успела поспорить с Анатолием из-за места — Анатолий хотел сидеть у окна, Галина тоже хотела у окна, и это было вечное, нерешаемое, каждое воскресенье одинаковое. Зина, самая младшая из девчонок — девять лет — ела молча и смотрела в стол: она всегда так делала, будто думала о чём-то очень важном и не хотела отвлекаться.

Мать поставила пироги на середину стола.

Сразу стало тихо.

Пироги с капустой, с яйцом и один — с яблоками, для Зины, потому что Зина капусту не ела. Мать помнила, кто что любит, кому как резать, кому наливать больше, кому меньше — и всё это без записей, без напоминаний, просто знала, и это казалось Витьке таким же естественным, как то, что солнце встаёт на востоке.

— Сегодня жарко будет, — сказала мать, садясь.

Никто не ответил про гром к вечеру. Некому было.

Витька посмотрел на отцовский стул у стены. Спинка, сиденье, четыре ноги. Просто стул.

Ел и смотрел в окно. Улица была ещё пустая — рано. Соседский кот Васька сидел на заборе и умывался. По Никитской прошёл дядя Миша с палкой — он всегда ходил по воскресеньям в одно и то же время, никто не знал куда. За крышами синело небо — чистое, без единого облака, обещание хорошего дня.

— А почему воскресенье воскресеньем называется? — спросил Анатолий.

Мать чуть помолчала.

— От слова «воскреснуть».

— А кто воскрес?

— Это долгая история. Доешь сначала.

Анатолий не понял, почему не отвечают, насутился, отвернулся к окну, забыл через тридцать секунд.

Витька смотрел на мать.

Она была красивая — он не думал об этом обычно, она просто была, как воздух, как дом, как запах пирогов по воскресеньям. Но последнюю неделю что-то в ней было другое. Ела мало. Говорила ровно — тем самым слишком ровным голосом. По вечерам сидела у окна и смотрела в темноту, когда думала, что дети спят. Витька видел — он уже три года умел ходить по половицам бесшумно.

Что она видела в темноте — не говорила. Витька не спрашивал.

— Можно выходить? — спросил Витька.

— Посуду помой, — сказала мать.

Он вышел в половине десятого.

Солнце уже поднялось высоко — горячее, настоящее, июньское. Улица пахла нагретой пылью и где-то — сиренью, хотя сирень уже отцветала. Витька прислонил велосипед к калитке, проверил шины — накачаны, отец всегда держал в порядке — и пошёл за Колькой.

Устиновы жили через три дома.

Колька уже ждал на крыльце — с удочками, с жестяной банкой для червей, взволнованный, как всегда перед рыбалкой.

— Голавль у мельницы точно есть, — сказал он вместо здравствуй. — Петька Сёмин вчера двух поймал.

— Петька Сёмин врёт через раз.

— Клянётся.

— Всё равно врёт.

Они пошли к реке. Велосипед Витька вёл рядом — пока к реке, потом оставит в кустах.

Калуга в то воскресное утро была сонная, тёплая, своя. Витька знал её всю — каждую улицу, каждый проулок, каждый двор, где можно пройти насквозь. Монастырь на горе. Ока внизу — широкая, медленная, с жёлтым песком у берега. Старый мост. Рынок, который по воскресеньям ещё работал до полудня.

Он любил этот город — не думая об этом, не называя это любовью. Просто он был здесь. Это было его место. Других мест не требовалось.

— Сначала у моста, — говорил Колька. — Там пережат, голавль любит пережат.

— Голавль плотву не любит?

— Голавль хищник. Почти.

— «Почти хищник» — это как?

— Ну, он и мошку берёт, и малька. Хищник с настроением.

Витька усмехнулся.

Они спустились к реке. Вода была тёплая, чуть зеленоватая у берега — водоросли. Дальше — серая, глубокая, медленная. Где-то в глубине двигалась рыба — по своим рыбьим делам, не зная о Витьке и Кольке, о воскресенье, о голавле с настроением.

Они закинули удочки.

Солнце грело в спину.

Колька молчал — что было странно. Но у воды молчали все.

Витька смотрел на поплавок. Думал ни о чём — так, обрывками. Велосипед до мельницы и обратно. Завтра контрольная по арифметике. «Робинзон Крузо» — третья перчитка, но каждый раз как первая. Отец обещал в следующее воскресенье пойти на стадион — «Локомотив» играет с москвичами.

Обещал — до того как уехал.

Поплавок стоял неподвижно.

Хорошее лето.

Долгое лето.

Он ещё не знал, что у этого лета есть только два часа.

На площадь они вышли случайно.

Рыбалку свернули раньше — поплавок не шевелился, Колька сказал, что рыба от жары ушла на глубину и до вечера не выйдет, Витька согласился, потому что хотел велосипед до мельницы.

Площадь была на пути.

Уже издали было видно — что-то не так. Люди стояли толпой у репродуктора — чёрная тарелка на столбе, Витька знал этот столб, мимо него ездил сто раз. Но сейчас у столба была толпа. Люди стояли тихо. Так тихо, что Витька почувствовал что-то холодное — маленькое, острое — ещё до того, как услышал голос из репродуктора.

Репродуктор говорил.

Слова были официальные — такие слова Витька слышал на собраниях, на парадах, по радио в большие праздники. Слова про правительство, про территорию, про вероломное нападение.

Витька не сразу понял.

Колька дёрнул его за рукав:

— Слышишь?

— Слышу.

Витька стоял и слушал. Слово «война» прошло сквозь толпу как волна — не громко, почти беззвучно, просто люди вокруг стали другими. Чуть медленнее. Чуть тяжелее.

Он посмотрел на мать.

Она стояла в толпе — в нескольких шагах, он не сразу её увидел. Пришла сама, как и все, кого это утро застало на улице, или вышла следом — Витька не знал. Руки сложены перед собой. Лицо — прямо, на репродуктор.

И Витька понял: она знала.

Не то чтобы знала про войну — но знала про что-то. Стояла не так, как стояли другие — не с открытым ртом, не с выражением человека, которого только что ударили. Стояла как человек, который ждал этого удара. Который готовился, не зная точно — когда. И вот — когда.

Отцовский армейский мешок. Слишком ровный голос всю последнюю неделю. Темнота за окном, в которую она смотрела по вечерам.

Витька смотрел на мать и чувствовал, как что-то уходит — не сразу, не целиком, но необратимо. Как вода уходит из-под ног на песчаном берегу, когда проходит волна. Стоишь ещё — а земли уже нет.

Репродуктор продолжал говорить.

Колька стоял рядом. Молчал.

Никто не плакал. Ещё не плакал — это придёт потом. Сейчас была только тишина и голос из чёрной тарелки, и солнце, которое продолжало светить, как будто ничего не случилось.

Репродуктор замолчал.

Площадь несколько секунд была совсем тихой.

Потом начался шум — голоса, движение, кто-то побежал — и это уже был другой мир. Тот, в котором Витька проснулся утром, почувствовал запах пирогов и взял отцовский велосипед, решив, что отец бы разрешил — того мира больше не было. Он кончился, пока говорил репродуктор.

Мать обернулась.

Нашла его глазами в толпе — сразу, точно, как умеют только матери.

Ничего не сказала. Просто смотрела на него секунду — две — и в этом взгляде было всё, что она не говорила всю последнюю неделю. Всё, о чём Витька не спрашивал.

Потом сказала:

— Домой.

Они пошли домой.

Велосипед остался в коридоре. На рыбалку они не пошли. Это лето закончилось в то воскресное утро — хотя календарь показывал июнь.

И отцовский стул так и стоял у стены. Чуть в стороне от стола. Не убранный. Не придвинутый.

Просто ждал.

Глава 2. Перрон

12 октября 1941 года. Калуга.

Степан Михайлович Орлов пришёл вечером.

Витька открыл дверь и не сразу узнал его — Орлов стоял в шинели, без шапки, лицо землистое от усталости и чего-то ещё. Чего-то такого, что Витька не умел назвать, но почувствовал сразу — как чувствуют сквозняк ещё до того, как хлопнет окно.

— Наталья дома? — спросил Орлов.

— Дома.

— Зови.

Он не сказал «здравствуй». Шинель не снял. Витька это заметил.

Мать вышла из кухни — вытирала руки о передник, ещё не понимая. Увидела Орлова и остановилась. Что-то в её лице переменялось — быстро, едва заметно. Как меняется свет перед грозой — ещё не темно, но уже не так.

— Степан, — сказала она.

— Наталья, — сказал Орлов. — Детей убери.

Мать обернулась на Витьку.

— Витя, возьми младших. В комнату.

— Мам...

— Витя.

Этот голос Витька знал. Не спорят.

Он увёл Анатолия и Зину в комнату. Наташа пошла сама — она умела чувствовать такие моменты. Галина попробовала остаться, мать повторила одно слово — «Галя» — и Галина ушла.

Витька закрыл дверь.

И сразу прижался к ней ухом.

Голоса были приглушённые. Орлов говорил короткими фразами — Витька улавливал обрывки. «...немцы у Тарусы...», «...к утру будут здесь...», «...Иван просил, если что...», «...ты понимаешь, что они сделают...».

Мать молчала. Потом спросила что-то — Витька не расслышал.

Орлов ответил одним словом.

Витька не расслышал и этого. Но мать после этого слова замолчала надолго. Потом произнесла — ровно, без интонации:

— Когда?

— Завтра утром. Поезд в шесть. Последний состав — больше не будет.

— Степан. Иван знает?

Пауза.

— Иван попросил меня об этом ещё в июне, — сказал Орлов. — Когда уходил. Сказал — если дойдут до Калуги, ты знаешь, что делать.

Тишина.

— Собирай детей, Наталья. Самое необходимое. Документы — в первую очередь.

Ночью никто не спал.

Вернее — спали младшие. Анатолий заснул быстро, не понимая. Зина долго лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок, потом тоже провалилась. Галина плакала в подушку, пока не затихла. Наташа сидела рядом с матерью и помогала собираться — молча, аккуратно, складывала вещи в чемодан с такой сосредоточенностью, будто от правильной укладки зависела чья-то жизнь.

Может, зависела.

Витька сидел у окна.

Калуга за окном не светилась — светомаскировка, темнота в каждом окне. Но небо на западе было не тёмным. Там стоял слабый красноватый отсвет — едва заметный, как бывает перед рассветом. Но до рассвета было далеко.

Это был не рассвет.

Витька смотрел на этот отсвет и думал об отце. Иван Петрович был там — за этим красным. Тянул свой кабель, держал связь, делал то, за что немцы расправятся с его семьёй, если найдут.

Если найдут.

Витька впервые подумал об этом прямо — не обходя, не отвлекаясь. Отец занимается тем, о чём не говорят вслух. Немцы это знают или узнают. И тогда — мать, сёстры, Анатолий.

Он встал. Прошёл на кухню.

Мать сидела за столом и глядела в одну точку. Перед ней лежали документы — аккуратной стопкой, перевязанные бечёвкой. Метрики, справки, фотография. Руки на столе — неподвижные, спокойные.

— Мам.

Она подняла взгляд.

— Ложись спать, Витя.

— Не хочу.

Она помолчала. Потом кивнула — едва заметно, как будто приняла какое-то решение.

— Садись.

Он сел напротив.

— Мам, — сказал Витька. — Орлов сказал — немцы расправятся. Это правда?

Мать не сразу ответила.

— Да, — сказала она наконец. Без смягчений, без «не беспокойся». Просто — да. — Папина работа особая. Они ищут таких людей. И семьи.

— Я понял.

— Поэтому мы уезжаем.

— Орлов остаётся? — спросил Витька.

Мать посмотрела на него — долго, внимательно. Так смотрят, когда видят, что ребёнок стал другим, и ещё не решили, как с этим быть.

— Остаётся, — сказала она.

Больше они не говорили. Сидели за столом — мать и сын — и смотрели каждый в своё. За окном на западе красный отсвет не гас.

На вокзал шли в темноте.

Орлов нёс чемодан. Наташа вела Зину за руку. Витька нёс Анатолия — тот дремал на плече, тёплый и тяжёлый, не проснувшийся по-настоящему. Галина шла рядом с матерью, держа за её руку.

Улицы были пустые. Ни одного светящегося окна. Только шаги по брусчатке — и где-то далеко, с запада, глухое низкое буханье. Как гром за горизонтом. Но не гром.

Орлов шёл впереди. Иногда оглядывался.

— Степан Михайлович, — негромко спросила мать. — Далеко они?

— К полудню будут в городе, — сказал Орлов, не оборачиваясь. — Не отставайте.

На вокзале былолюдно — неожиданно, после пустых улиц. Женщины с узлами, старики, дети. Мужчин почти не было. Те, что были — в форме, с оружием, с закрытыми лицами. Голоса — вполголоса, почти шёпот. Никто не кричал.

Это было страшнее крика.

Состав стоял у перрона — товарные вагоны, двери открыты. Люди грузились молча, подавали детей в тёмные проёмы.

Орлов провёл их вдоль состава — уверенно, он знал куда. Остановился у одного вагона. — Сюда.

Помог матери. Подсадил Наташу. Галину. Зину. Протянул руки — взял Анатолия у Витьки, передал внутрь.

Витька запрыгнул сам.

В вагоне было тесно и пахло сырым деревом и людьми. В углу кто-то плакал — ровно, без остановки. Витька нашёл место у стены, усадил Анатолия рядом с матерью.

Орлов стоял на перроне внизу.

Мать наклонилась из проёма.

— Степан. Иди с нами.

— Не могу, — сказал Орлов.

— Степан...

— Наталья. — Голос у него был ровный. Очень ровный. — Этот поезд должен уйти. Ты понимаешь?

Мать молчала.

— Иван знает? — спросила она наконец.

— Иван попросил, — сказал Орлов просто. — Он знал кого просил.

Он поднял руку — не попрощаться, просто жест. Потом отступил от вагона и пошёл вдоль перрона — к станционному зданию, где стояли несколько бойцов с винтовками.

Мать смотрела ему вслед.

Паровоз загудел.

Состав тронулся медленно — почти незаметно сначала, потом перрон начал уплывать назад. Витька стоял у приоткрытой двери.

Орлов был у станционного здания — он и ещё трое. Они глядели не на уходящий поезд — в другую сторону, туда откуда шло низкое буханье. Туда, где красный отсвет.

Состав набирал ход.

И тогда — с той стороны, куда смотрел Орлов, — раздались выстрелы.

Сначала редкие. Потом чаще. В темноте мелькнули вспышки — у самого края перрона. Орлов и те трое бросились навстречу. Силуэты смешались в темноте.

— Витя, отойди от двери, — сказала мать.

Он не отошёл.

Вагон уходил, расстояние росло, перрон становился меньше — но он видел. Там стреляли. Там мелькали фигуры. Там Орлов держал подступы к перрону — ценой которую Витька понял не сразу, а потом, через несколько минут, когда стрельба стихла и состав был уже далеко.

Слишком далеко чтобы что-то разглядеть.

Слишком далеко чтобы помочь.

Витька отступил от двери. Сел на пол — спиной к деревянной стене, колени к груди. Вагон качался. Колёса стучали ровно, без остановки. В углу всё так же плакали.

Мать опустилась рядом. Плечо к плечу. Молча.

Анатолий спал.

— Мам, — сказал Витька. — Он не успел?

Мать не ответила сразу.

— Он сделал что должен, — произнесла она наконец.

Витька смотрел в темноту вагона.

Степан Михайлович Орлов. Он шёл на вокзал с чемоданом в руке, впереди, оглядываясь. Проводил их — и остался. Потому что Иван Петрович попросил.

Он знал кого просил.

Витька закрыл глаза.

Где-то позади оставалась Калуга. Впереди была темнота, стук колёс и Урал, о котором Витька знал только, что он далеко.

Он думал об отце.

Отец не знал — сейчас, в эту минуту — что его семья в теплушке, что состав идёт на восток. Не знал, что Орлов стоял на перроне. Не знал — или знал? Орлов сказал: *Иван попросил меня об этом ещё в июне*. Значит отец готовился к этому. Попросил друга — на случай если.

Витька подумал: отец всегда знал, что делать.

Когда Витька упал с дерева и сломал руку — знал. Когда сторел сарай у соседей — знал. И сейчас — за сотни километров отсюда, в темноте, под огнём — знал.

Ты за старшего.

Он не говорил этого вслух. Уехал в июне без прощания, с армейским мешком на рассвете. Но Витька слышал эти слова — не ушами, как-то иначе. В том как отец потрепал его по голове в коридоре перед уходом. В том как обернулся у двери.

Ты за старшего.

Витька поднял голову.

Мать. Наташа. Галина. Зина. Анатолий.

Все здесь. Все целые.

Мать посмотрела на него — в темноте вагона, среди чужих людей. Посмотрела долго.

— Всё нормально, мам, — сказал Витька.

Она кивнула.

Бомбёжка началась под утро.

Состав встал посреди поля — резко, без предупреждения, люди попадали с нар. Потом снаружи закричали от паровоза:

— Выходи! Все в поле! Быстро!

Витька был уже на ногах.

— Мама, выходим. Наташа — Анатолия держи. Зина, возьми Галину за руку.

Он сам не понял откуда взялся этот голос — сухой, короткий, без лишнего. Чужой голос. Взрослый.

Они прыгали из вагона в темноту — в холод, в мокрую траву, в поле. Витька принял Анатолия, поставил на землю.

Самолёты шли низко.

Витька услышал их прежде, чем увидел вспышки — нарастающий гул, ни на что не похожий. Потом в темноте неба замелькали огни — далеко, у горизонта. Потом ближе.

— Ложись! — закричал кто-то рядом.

Витька толкнул всех вниз и лёг сам, накрыв Зину. Под руками была холодная осенняя земля, мокрая, пахнувшая прелым. Зина не кричала — только вжалась и не двигалась.

Взрывы легли сзади — в стороне от них, у путей. Земля вздрагивала. Гул нарастал и уходил.

Потом стихло.

Витька лежал и слышал собственное сердце — громко, часто.

Зина пошевелилась под ним.

— Витя. Тяжело.

Он поднялся. Сел.

Мать была рядом — целая, с Анатолием, прижатым к груди. Наташа. Галина. Зина.

Витька считал взглядом — раз, два, три, четыре, пять.

Все.

Мать посмотрела на него — так, как смотрят, когда хотят запомнить. Витька выдержал взгляд.

— Всё нормально, мам, — сказал он.

Она кивнула. Второй раз за ночь.

Паровоз стоял на путях — цел. Только хвостовые вагоны дымились. Люди поднимались с земли и шли обратно — молча, поднимали детей в проёмы дверей.

Витька подхватил Анатолия. Подал руку матери. Помог Зине.

Когда все были в вагоне, он встал у двери и обернулся.

Поле. Темнота. Далеко на западе — слабый красный отсвет над горизонтом.

Калуга горела.

Витька смотрел на этот свет — на город, где он родился, где был дом, где в книге торчала бумажная закладка на середине страницы, где в коридоре стоял отцовский велосипед. Где на перроне остался Орлов.

Состав тронулся.

Отсвет на западе становился меньше — медленно, как будто нехотя.

Потом исчез.

Витька закрыл дверь вагона и обернулся к своим.

Глава 3. Осназ

Витька узнает всё это только зимой 1942 года — от раненого сослуживца отца. Но читатель видит сразу. Это создаёт особое напряжение — читатель знает то, чего не знает Витька. Читатель будет смотреть на отца глазами знания. Витька — ещё нет.

Часть первая. Граница.

Батальон особого назначения ГРУ стоял в Западном особом военном округе — в тридцати километрах от границы. Секретное расположение, без названия на картах, без указателей на дорогах. Лесной массив, замаскированные позиции, восемь передвижных станций радиоконтроля под маскировочными сетями среди сосен.

Задача батальона была технической и на первый взгляд неопасной. Контроль радиоэфира советских частей — следить, чтобы никто не вышел в эфир без шифра, без санкции, без необходимости. Война — это не только пушки. Война — это информация. Один необдуманный выход в эфир мог стоить дивизии. Мог стоить фронта.

Прослушка немецких частот была запрещена отдельным приказом. Иван знал об этом приказе. Не понимал его — но знал.

Однажды весной 41-го, на ночном дежурстве, оператор подал ему знак. На коротких волнах шла чёткая немецкая речь, рабочий темп, позывные переходили из рук в руки, как инструменты в знакомой мастерской. «Слышите?» — прошептал парень, не поднимая головы. Иван положил ладонь ему на плечо и медленно снял с него наушники. Выключил. В журнале он написал ровной рукой: «Нарушений не допущено». Бумага осталась чистой. Эфир — нет.

После двадцать второго июня он понял другое. Наверху боялись того, что услышат. Боялись, что реальное положение дел просочится вниз по цепочке, и тогда уже ничем не удержать.

Иван Клепов командовал батальоном второй год. Тридцать восемь лет, кадровый офицер, из тех людей, которые умеют держать форму — не внешнюю, внутреннюю. Умеют взвешивать и решать. Батальон, приказы, карта, задача — всё укладывалось. Всё имело смысл.

Смысл кончился двадцать второго июня в четыре часа утра.

Иван не спал в ту ночь. Что-то не давало — беспокойство без причины, то самое, которое опытные люди называют чутьём и которому не умеют дать объяснение. Он лежал в землянке и слушал лес. Лес молчал. Потом перестал молчать.

Сначала был звук — далёкий, похожий на гром, но не гром. Земля чуть вздрогнула. Потом ещё раз. Иван сел на койке и подумал: учения. Артиллерийские учения на полигоне. Бывало.

Потом звук стал ближе.

Он выбежал из землянки. Небо на западе светилось — не рассветом, другим светом, оранжевым и дёргающимся. Связной прибежал через десять минут — запыхавшийся, с белым лицом.

— Немцы, — сказал он. — Немцы перешли границу.

Иван смотрел на него одну секунду. Одну — и это была последняя секунда того мира, в котором он жил до этого момента.

— Батальон — в ружьё, — сказал он.

Первые бомбы упали на позиции в пять утра того же дня.

Это не было случайностью — Иван понял сразу. Батальон стоял в секретном месте, без указателей, без официального обозначения на картах. Чтобы нанести удар точно по этим координатам, нужно было знать их заранее. Значит, кто-то знал. Попадания были слишком точными для слепого поиска.

Три машины сгорели в первые минуты. Четвёртую взрывной волной перевернуло как игрушку. Сосны вокруг стояли без верхушек — срезало. Земля была перепажана воронками, и

в воронках лежали люди — некоторые живые, некоторые уже нет, и разница между ними была не сразу понятна в дыму и пыли.

Иван бежал по позициям и коротко отдавал команды — отходить, рассредоточиться, убрать раненых с открытого места. Самолёты заходили на второй круг. Он упал в канаву и лежал лицом в землю, пока не кончилось. Земля пахла корнями и прелыми листьями — мирный запах, неуместный здесь и сейчас.

Когда поднял голову — от восьми машин осталась одна, и та с перебитой антенной.

Связи не было. Штаб молчал. Эфир говорил чужими голосами — немецкими, чёткими, спокойными. Они не торопились. Они знали, что делают.

Часть вторая. Окружение.

К полудню двадцать второго июня стало ясно — они отрезаны.

Немецкие части прошли с севера и с юга, охватывая округ огромными клещами. Это был не прорыв — это было окружение, спланированное заранее, отработанное, безжалостное в своей точности. Потом это назовут Белостокским котлом. Потом историки напишут цифры — сотни тысяч пленных, десятки дивизий, уничтоженных или рассеянных. Тогда, двадцать второго июня, Иван не знал цифр. Он знал только одно: пути на восток перекрыты.

Собрал командиров — четверо из восьми остались. Стояли в лесу и смотрели на него. Ждали того, что он всегда умел, — умения решать.

— Сколько людей? — спросил он.

— Сто двенадцать, — сказал старший лейтенант Громов. — Двадцать три раненых.

— Техника?

— Одна машина. Антенна перебита. Топлива на сто километров.

— Бросаем машину. Уходим пешком. На восток. Ночью. Карты — уничтожить.

Он видел страх — не трусость, просто страх, человеческий, перед тем, что непонятно и огромно. Он и сам боялся. Просто времени об этом думать не было.

— Идём, — сказал он.

Они шли двадцать восемь дней.

Двадцать восемь дней по оккупированной земле — через леса Белоруссии и Смоленщины, через болота, через деревни, где стояли немцы или где не было уже никого, где только печные трубы торчали из пепла и собаки бегали без хозяев.

Июнь сменился июлем. Июль — августом. Жара стояла необычная в тот год — душная, липкая, с тучами комаров над болотами. Шли ночами, отлёживались днём в лесу. Огонь не жгли — немецкие самолёты ходили низко, нагло, хозяйски. Иван устанавливал посты, менял маршруты, обходил дороги за три километра. Распределял тишину как ресурс.

Еду находили, где придётся. В брошенных домах — крупа, консервы, иногда картошка в погребе. В полях — то, что не убрали, не успели. Однажды нашли корову — стояла посреди поля одна, без хозяев, мычала в пустоту. Зарезали. Иван смотрел на это и думал: вот и мы теперь так. Стоим посреди чужого поля и ждём, кто придёт и решит, что с нами делать.

Раненых несли первые две недели. Потом трое умерли — тихо, без криков, просто переставали дышать к утру. Ещё пятерых пришлось оставить в деревнях — местные женщины прятали, рискуя собой. Иван оставлял им пистолеты и шёл дальше. Что с ними стало — не знал. Никогда не узнает.

Люди терялись по ночам. Однажды дозорщик шепнул: «Нет Векшина». Возвращаться было нельзя. Кричать — нельзя. Иван стоял в темноте на краю болота, слушал густую воду и решал — одну, вторую, третью секунду. Потом положил ладонь на плечо дозорному: идём. Утром он записал: «Векшин, Николай. Ночь. Лес. Болото». И ещё линию — как черту.

Он считал людей каждое утро. 112. 97. 84. 71. 63.

Он записывал имена в тетрадь. Не потому, что кто-то требовал отчёта. Просто казалось важным — чтобы кто-то записал. Чтобы осталось.

Однажды — в конце июля, в деревне, название которой Иван не запомнил, — они наткнулись на немецкий патруль. Четверо солдат, мотоцикл с коляской, просёлочная дорога. Иван лежал в канаве в десяти метрах и смотрел, как они курят и разговаривают — спокойно, как люди, которые никуда не торопятся, которые хозяева этой земли и сами это знают.

Один засмеялся чему-то. Второй показал рукой на закат — красивый был закат, оранжевый, летний.

Рядом с Иваном в канаве лежали семь человек из дозора. Никто не шевелился.

Патруль покурил, завёл мотоцикл и уехал.

Иван ещё долго лежал после того, как затих звук мотора. Смотрел в небо и думал: там в штабах сейчас пишут сводки. Пишут цифры. Он и его люди — тоже где-то в этих цифрах. В графе «пропавшие без вести». Может, уже в другой графе.

Потом поднялся и пошёл дальше.

Вышли к своим третьего октября.

Не вышли — наткнулись. Заградительный отряд стоял на опушке леса восточнее Смоленска, и когда из леса начали выходить люди в советской форме — грязные, заросшие, похожие на тени — солдаты вскинули оружие.

Иван вышел первым с поднятыми руками. Назвал звание, номер батальона, произнёс слова «особый отдел ГРУ».

Их долго проверяли — правильно делали. Фильтрационный лагерь, допросы, проверка каждого. Иван отвечал на вопросы спокойно. Называл имена, даты, коды, маршруты. Ждал.

Когда всё кончилось — от батальона осталось шестьдесят три человека. Из ста двенадцати.

Иван сдал тетрадь с именами какому-то офицеру в чистой форме. Тот принял её, не глядя положил на стол. Иван смотрел, как тетрадь лежит среди других бумаг, — и думал: вот и всё, что осталось от сорока девяти человек. Тетрадь в линейку, карандашные буквы, некоторые смазаны — однажды ночью шёл дождь и тетрадь намокла.

Он вышел на улицу и закурил. Руки не дрожали. Он удивился этому.

Часть третья. Пустота.

Неделю Иван был никем.

Не больной и не здоровый. Не в строю и не в отпуске. Просто человек в гимнастёрке без задачи — в казармах, где всё время кто-то куда-то шёл и что-то делал, а он сидел и ждал. Ел. Спал. Первые три дня спал почти без остановки — ложился и проваливался в темноту без снов, без времени, просто в ничто.

На четвёртый день понял, что это странно. Двадцать восемь дней он шёл — и у каждого часа была цель. Дойти до следующего леса. Обойти дорогу. Сосчитать людей. Найти воду. Задача всегда была — маленькая или большая, но была. Она держала. Она была причиной, по которой утром открываешь глаза и встаёшь.

Теперь задачи не было.

Он вставал. Умывался. Шёл в столовую. Возвращался. Садился на койку и смотрел в стену. Стена была серая, деревянная, с трещиной наискосок. Он изучил эту трещину за три дня так, как не изучал ни одну карту.

Иногда память подсовывала тусклые, мирные картинки. Скрип четвёртой сверху ступени в их подъезде. Полоска тёплого света из-под двери кухни. Пахнувший порошком половик у порога — Витька однажды насыпал слишком много, и пена тогда шла из таза, смешная, прозрачная, как мыльный снег. Эти мелочи плыли и таяли.

Это было хуже страха. Страх — это движение, это тело, которое знает, что делать, даже когда голова не успевает. А это было другое. Это была остановка. Полная — как будто что-то внутри, что крутилось все двадцать восемь дней без перерыва, вдруг встало и теперь не знало, в какую сторону двигаться дальше.

Он думал о шестидесяти трёх. Те, кто вышли. Они сейчас тоже где-то сидят и смотрят в стены. Или уже получили новые назначения и снова куда-то идут. Он не знал. Их разобрали по разным частям сразу после фильтрации, и он не успел даже попрощаться.

Он думал о сорока девяти. Реже — потому что думать об этом было как трогать рану руками. Знаешь, что не надо. Всё равно трогаешь.

На четвёртый день пришёл особист. Молодой, с быстрыми глазами, с папкой бумаг. Сел напротив, раскрыл папку.

— Как думаете, — спросил он, — каким образом немцы знали расположение батальона?

— Агент, — сказал Иван.

— Среди ваших людей?

— Или среди тех, кто знал координаты. Не обязательно среди моих.

Особист делал пометки. Иван отвечал подробно и терпеливо — кто знал расположение, кто имел доступ к документам, кто вёл себя необычно в последние недели перед войной. Потом особист ушёл и больше не возвращался. Что стало с этим делом — Иван не узнал. Такие вещи не сообщали.

На седьмой день его вызвали к полковнику.

Часть четвёртая. Ополчение.

Полковник был немолодой, усталый, с лицом человека, который уже многое понял про эту войну — и это понимание его не обрадовало. Смотрел на бумаги, не поднимая глаз.

— Батальон переформируется, — сказал он. — Личного состава нет. Техники нет. Специалистов нет — кто погиб, кого переводят. Батальон как боевая единица прекращает существование.

Иван молчал.

— Тебя переводят. Формируется батальон народного ополчения. Москвичи. Не призывники — те уже ушли. Остаток. Ты назначен командиром.

— Вооружение? — спросил Иван.

— Что найдём.

— Боевая подготовка личного состава?

Полковник поднял глаза.

— Это ополчение, — сказал он. — Ты понимаешь, что это такое.

Иван кивнул. Понимал. Ополчение — это люди, которых не взяли в армию. По возрасту, по здоровью, по бронированным специальностям. Не солдаты. Граждане, которые взяли оружие потому, что больше некому.

— Задача? — спросил он.

— Получишь на месте.

Когда задачу не говорят сразу — значит, она такая, что лучше пусть человек сначала придет, посмотрит людям в лица, привыкнет — а потом уже узнает. Иван это понимал.

— Есть, — сказал он. Взял под козырёк. Вышел.

На улице он остановился и подумал: вот и всё. Снова есть задача. Снова есть причина вставать утром.

Это должно было обрадовать. Почему-то не обрадовало.

Батальон стоял в Наро-Фоминске.

Иван приехал на рассвете — серое небо, первый снег, мокрый, сразу тающий, запах горького дыма откуда-то с запада. Люди стояли на плацу неровными рядами.

Восемьсот человек.

Учителя. Бухгалтеры. Портные. Сторожа. Инженеры. Архитекторы. Музыканты. Пятидесятилетние мужчины с больными сердцами. Мальчишки семнадцати-восемнадцати лет — те, кого не успели призвать официально, или пришедшие сами, соврав о возрасте.

Иван обходил строй медленно — с начала до конца, глядя в лица. Одни смотрели с надеждой, как будто он принёс с собой знание, которое всё объяснит. Другие — с тревогой. Третьи — с тем выражением, которое бывает у людей, уже всё решивших внутри себя.

В первом ряду стоял немолодой человек — пальто поверх шинели, на ногах валенки домашние, подшитые. Шурился от снега.

— Звание? — спросил Иван.

— Рядовой. Розенберг Семён Аркадьевич. Пятьдесят два года. Учитель математики.

— Воевали?

— В гражданскую. Под Царицыном.

— Помните, как держать винтовку?

Розенберг посмотрел на него прямо — без заискивания, без страха.

— Помню, — сказал он. И добавил тихо, только для Ивана: — Без лишних переменных, товарищ командир.

Иван кивнул и пошёл дальше.

В третьем ряду стоял коренастый мужчина с упрямо сжатыми губами.

— Кто вы по мирной? — спросил Иван.

— Бухгалтер. Анисимов. Пятьдесят один. Считать умею. И себя в счёт поставьте тоже.

Иван едва заметно кивнул.

В конце строя стояли мальчишки — отдельной кучкой, человек тридцать. Один — длинный, тонкий, с торчащими ушами — держал винтовку за середину, неловко, как держат лопату.

— Как зовут? — спросил Иван.

— Ефремов Николай. Можно Колька. Мне восемнадцать.

— Студент?

— Педагогический институт, — сказал Колька. — Второй курс. Историческое отделение. Немцев под Нарвой в семнадцатом наши тоже... — спохватился, замолчал.

— Поставь приклад на землю, — сказал Иван. — Ствол вверх. Вот так держат.

Колька переставил. Посмотрел на командира — ждал ещё чего-то, одобрения или порицания.

Иван уже шёл дальше.

Он дошёл до конца строя, развернулся и встал лицом к восьмистам людям. Смотрел на них. Они смотрели на него.

Тишина была полная — только ветер гнал позёмку по плацу и где-то далеко на западе глухо, еле слышно, гудело. Там шла война. Она была близко.

Иван прикинул слова. Потом передумал.

Он думал: шестьдесят три из ста двенадцати — его личный счёт. Здесь — восемьсот.

Он думал: постараюсь.

— Вольно, — сказал он. — Разобраться по ротам. Командиры рот — ко мне.

Строй зашевелился. Восемьсот человек начали двигаться — неловко, негромко переговариваясь, ища своих. Гражданские люди, которым предстояло стать чем-то другим. Или не успеть стать.

Розенберг, проходя мимо, чуть кивнул ему — коротко, без слов. Иван кивнул в ответ.

Колька Ефремов тащился в хвосте своей роты, поправляя ремень винтовки, которая всё время съезжала с плеча.

Иван смотрел, как они расходятся по плацу, и думал о тетради. О той, которую он сдал офицеру в чистой форме. О карандашных буквах, некоторые из которых смазались от дождя.

Нужно будет завести новую.

Часть пятая. Наро-Фоминск.

Задачу ему объяснили в тот же день.

Командир дивизии — немолодой полковник с забинтованной кистью — расстелил карту на столе и провёл пальцем линию.

— Здесь. Наро-Фоминское направление. Немцы прорвали фронт. Идут на Москву. Ваш батальон — здесь. Задача — задержать на один час. Пока подтянем резервы.

Иван смотрел на карту.

— Сколько у них пехоты?

— Много. — Полковник помолчал. — Больше, чем у вас.

— Вооружение батальона?

— Винтовки. Некомплект — одна на троих. Гранаты — не у всех. Бутылки с зажигательной смесью. Пистолеты у командиров.

Иван тихо выдохнул. Семьдесят километров до Москвы. Один час.

— Один час, — сказал он.

— Один час, — подтвердил полковник. И добавил, глядя в сторону: — Иван Петрович. Ты понимаешь, что я тебе говорю.

Иван понимал.

— Понимаю, — сказал он.

Больше вопросов не было.

К вечеру они окопались на гриве перед посадкой. Иван разбил сектора, распределил «бутылочников», велел вырыть у каждого отделения неглубокую нишу с соломой для стекла, чтобы в суете не роняли и не били заранее. Два узких огневых мешка оставил перед левым флангом — если пойдут обходить, поджечь траву не получится, поздно осенью сыро, — значит, придётся резать перебежками. По взмаху флажка второй роты развернуть угол обстрела на двадцать градусов вправо. Простой знак, не требующий крика.

Утром двадцать первого ноября он построил батальон последний раз.

Восемьсот человек стояли на промёрзшем поле. Низкое, глухое небо. Подмёрзшая земля звенела коркой. Дыхание паром над строем. Ноябрьский рассвет едва начинался — тусклый, нехотя, как будто и сам не был уверен, стоит ли.

Иван стоял перед строем и смотрел на них.

Розенберг — в первом ряду, в домашних валенках. Колька Ефремов — с краю, держит винтовку уже правильно, научился за неделю. Бухгалтер в третьем ряду — тот самый, который плотно сжимал губы в первый день. Архитектор из второй роты — Воронцов, сорок четыре года, строил жилые дома в Замоскворечье. Учитель литературы из четвёртой роты, пятьдесят один год. Инженер. Переводчик. Студент последнего курса, пришедший сам, без повестки.

Москва.

Интеллигенция Москвы стояла перед ним в шинелях и ватниках, с одним оружием на троих, и смотрела на него.

— Задача, — сказал он. — Задержать противника на один час. За это время резервы выйдут на позиции. Один час — и мы выполнили задачу. Вопросы есть?

Тишина.

— По местам.

Немцы пошли в восемь утра.

Иван слышал их раньше, чем увидел — сначала далёкий равномерный шум шагов, потом короткие немецкие команды, деловые, без лишних интонаций. Потом они появились из леса — цепями, плотно, уверенно. Пехота. Хорошо вооружённая, обученная, знающая, что делает. Они шли так, как ходят люди, которые делали это сотни раз. Которые не ждут сюрпризов.

Иван лежал за бруствером и следил. Рядом лежал Громов.

— Подпустить до пятидесяти метров, — сказал Иван тихо. — Не раньше.

По траншее прошёл шёпот — команда передавалась от человека к человеку. Иван слышал дыхание рядом — неровное, частое. Кто-то справа негромко, почти беззвучно, шевелил губами. Молился или считал — не понять.

Шестьдесят метров.

Пятьдесят пять.

Пятьдесят.

— Огонь.

Первый залп получился — неровный, разрозненный, не такой, каким бывает у обученных солдат, но плотный. Немецкая цепь качнулась. Несколько человек упали. Остальные залегли.

Тридцать секунд — пока перезаряжали. Потом немцы открыли ответный огонь.

Пули шли густо. Земля сыпалась с бруствера. Слева кто-то коротко вскрикнул и замолчал. Иван не повернулся — некогда.

Поднял голову. Выстрелил. Снова лёг.

Немцы начали движение — перебежками, грамотно. Один прикрывает, другой идёт вперёд. Сорок метров.

— Бутылки! — крикнул Иван.

Полетели бутылки — из заранее приготовленных ниш. Пламя плеснуло по мерзлой земле, задев магазин на ремне у одного; двое немцев поднялись и тут же упали обратно. Остальные отползли на десять метров и снова залегли.

Тридцать восемь метров. Стоят.

Иван перезарядил и посмотрел вдоль траншеи. Его люди стреляли — неровно, кто как умел, но стреляли. Розенберг лежал за бруствером и работал методично — прицелился, выстрелил, перезарядил, снова прицелился. Без суеты. Как решал задачи на доске — шаг за шагом, без лишних переменных.

Колька Ефремов стрелял слишком часто. Иван видел — мажет, торопится, руки дрожат.

— Ефремов! — крикнул он.

Колька повернул голову — бледный, с широко открытыми глазами.

— Медленнее. Прицелься сначала. Медленнее.

Колька кивнул. Сглотнул. Приложился к прикладу.

Первые двадцать минут Иван помнил почти по секундам.

Потом время сломалось.

Бой перестал быть последовательностью событий — он стал сплошным, без пауз, без начала и конца в каждом отдельном моменте. Стрельба. Перебежки. Крики. Команды, которые Иван отдавал и сам не всегда слышал. Земля, которая прыгала от близких разрывов. Дым, который стелился низко над полем и резал глаза.

Немцы давили с фронта. Попытались обойти с левого фланга — Иван это увидел и бросил туда вторую роту. Обход не получился. Немцы отошли и снова пошли в лоб.

Люди падали.

Иван чувствовал это боковым зрением, слухом, тем особым ощущением, которое появляется у командира в бою и которому нет точного названия. Вот справа стало тише — значит, там меньше людей. Вот с левого фланга перестали докладывать — значит, некому докладывать. Вот Громов что-то кричит и голос у него другой — значит, что-то изменилось и изменилось плохо.

— Громов!

Громов подполз. Лицо в земле, рукав разорван, кровь на запястье.

— Третья рота — половина. Пулемёт заклинило.

— Разберут?

— Работают.

— Правый фланг держит?

— Держит. Пока.

Иван посмотрел на часы.

Сорок минут.

Резервы должны были подтянуться через двадцать. Двадцать минут — это был весь горизонт. Не дальше.

— Держимся, — сказал он.

Громов кивнул и пополз обратно.

На пятидесятой минуте немцы усилили нажим.

Иван понял это сразу — огонь стал плотнее, ритмичнее, профессиональнее. Подтянули что-то тяжёлое. Мины легли точно по траншее — одна, вторая, третья. Земля вставала столбами. После каждого разрыва несколько секунд Иван не слышал ничего — только звон, далёкий и высокий, как оборванная струна.

Потом слух возвращался.

И снова — выстрелы, крики, чужая речь где-то слева, ближе, чем должна быть.

Слева прорвались.

Иван увидел немцев метрах в двадцати — они шли вдоль траншеи, стреляли сверху вниз. Он выстрелил. Ещё раз. Рядом с ним вскочил кто-то и метнул гранату — коротко, резко, без замаха — и упал обратно раньше, чем граната взорвалась.

Разрыв. Дым.

Немцы у траншеи отошли.

Иван повернулся. Рядом лежал Колька Ефремов — на спине, руки вдоль тела. Глаза закрыты. Грудь не движется.

Восемнадцать лет. Второй курс. Историческое отделение.

Иван смотрел на него одну секунду.

Потом перезарядил. Поднял голову над бруствером. Выстрелил.

Некогда. После.

Шестьдесят минут.

Час прошёл.

Резервов не было.

Иван лежал за бруствером и это понимал. Понимал спокойно — не с отчаянием, а с той особой ясностью, которая приходит, когда всё уже решено и остаётся только делать. Резервы опаздывают. Может, задержались. Может, другой прорыв. Может — мало ли что. Война не спрашивает.

Задержать на час — задача выполнена.

Значит, держаться дальше.

Значит, ещё.

— Держимся! — крикнул он по траншее. — Держимся!

Голос у него был ровный. Он сам удивился этому.

Из траншеи ответили — негромко, неровно, но ответили. Живые ответили.

Немцы снова пошли.

На семидесятой минуте Иван получил осколок.

Он не сразу понял. Почувствовал удар — сильный, как будто кулаком в бок, — и подумал: земля. Взрывная волна. Бывает. Продолжал стрелять.

Потом заметил, что левая рука слушается хуже. Посмотрел. Гимнастёрка мокрая от плеча до пояса.

Кровь.

Он прощупал рукой, не отрываясь от бруствера. Нашёл место. Осколок вошёл под ребро с левой стороны. Глубоко. Боли почти не было — это он знал, что значит. Боль придёт потом. Сейчас — шок, адреналин, тело, которое ещё не поняло.

Он перехватил винтовку в правую руку.

Выстрелил.

Перезарядил.

Выстрелил.

Потом что-то ударило его в голову — не осколок, взрывная волна, — и он опустился на дно траншеи и некоторое время просто сидел, прислонившись спиной к земляной стенке, и смотрел в небо. Небо было серое. Ноябрьское. Без единого просвета.

Где-то рядом стреляли. Где-то рядом кричали.

Он попробовал встать. Не получилось сразу. Попробовал ещё раз. Получилось.

Поднялся. Взял винтовку.

Посмотрел на часы.

Час двадцать.

Подкрепление пришло в час двадцать.

Иван не слышал, как они вышли из леса. Он вообще плохо слышал к тому времени — контузия или просто голова перестала воспринимать новые звуки. Он лежал на дне траншеи и смотрел в небо. Серое. Обычное ноябрьское небо над Подмосковьем.

Кто-то наклонился над ним.

— Живой?

Иван посмотрел. Незнакомое лицо. Советская ушанка. Советская шинель.

— Живой, — сказал он.

Голос был чужой — как будто говорил кто-то другой, а он только слышал издалека.

— Сколько вас?

Иван не знал. Он медленно повернул голову. Траншея была длинная. В траншее лежали люди. Большинство не двигались.

— Посчитай сам, — сказал он.

Посчитали.

Шестеро.

Из восьмисот — шестеро. Все ранены. Двое без сознания. Розенберг сидел у стенки траншеи и смотрел прямо перед собой — глаза открытые, живой.

Санитары пришли быстро. Иван почувствовал, как его берут за плечи, за ноги, кладут на носилки. Он не сопротивлялся. Сил не было.

Его несли по полю.

Он смотрел в небо — серое, плоское, без единого просвета. Под сердцем жгло. Не больно — просто жгло, как тлеющий уголь. Осколок. Понял это спокойно, без паники. Осколок — значит живой. Мёртвым они не мешают.

Думал о восьмистах.

Думал о том, что их больше нет. Восемьсот человек — учителя, бухгалтеры, мальчишки с незаконченным образованием — их больше нет. Колька Ефремов больше нет. Воронцов больше нет — архитектор, сорок четыре года, строил жилые дома в Замоскворечье, говорил до войны, что проектировал целый квартал, не достроил. Не достроит. Сколько семей не въедут в квартиры, которых не будет. Учитель литературы из четвёртой роты — пятьдесят один год, сколько детей он не научит читать. Инженер с руками, привыкшими к чертежам. Переводчик. Студент последнего курса, пришедший сам, без повестки.

А немцы не прошли.

Резервы успели.

Он не знал этого наверняка. Но носилки несли на восток. Значит — успели.

Этого было достаточно.

В госпитале под Москвой врач — молодой, уставший, с красными глазами — посмотрел снимок и долго молчал.

— Осколок близко к сердцу, — сказал он наконец. — Очень близко.

— Трогать будете?

Врач помолчал ещё.

— Нет. Слишком рискованно. Он сейчас не двигается. Если трогать — можем потерять вас на операционном столе. Если не трогать — может лежать так годами.

— Может?

— У некоторых лежит всю жизнь. Не беспокоит.

Иван смотрел на белый потолок палаты. Чистый. Непривычно чистый после траншеи.

— А может не лежать? — спросил он.

— Может, — сказал врач честно. — От удара. От взрывной волны. Может сдвинуться.

— Тогда?

— Тогда — посмотрим.

Иван кивнул. Закрыв глаза.

— Бумага есть? — спросил он потом у санитаря. — И карандаш.

Санитар принес. Иван положил блокнот на грудь, вывел первые три строки. Рука дрожала от слабости, но буквы получались узнаваемыми.

«Ефремов Николай. Рядовой. Погиб под Наро-Фоминском.

Воронцов Пётр. Рядовой. Погиб.

Розенберг Семён — жив.»

Он посмотрел на третью строку и перечеркнул «— жив». Поставил точку. Подумал и приписал: «Пока».

Посмотрим, значит, посмотрим.

Он лежал в палате и думал о Витьке.

О том, как Витька стоял у окна, когда он уходил. Серый предрассветный двор. Маленькая фигура за стеклом. Витька не окликнул — понял, что нельзя. Что если окликнешь — отец не уйдёт. А уйти надо.

Умный мальчик.

Держись, Витька.

Иван смотрел в белый потолок и думал: я живой. Осколок под сердцем — но живой. Из восьмисот — шестеро. Я один из шести. Это что-то значит. Должно что-то значить.

Потом подумал: нет. Ничего это само по себе не значит. Значит только одно — надо ехать дальше. Пока можно — ехать дальше.

Закрыв глаза.

Заснул.

Эпилог главы

Об этом Виктор узнает не сразу.

Узнает зимой сорок второго — когда к ним на Урал придёт человек на костылях, с забинтованной рукой. Один из шести. Сядет за стол в комнате на восемь метров, посмотрит на Витьку — двенадцатилетний мальчик, худой, с взрослыми глазами — и расскажет.

Ровно. Без интонаций. Без героизма.

Про осназ и самолёты. Про батальон ополчения. Про одну винтовку на троих. Про Кольку Ефремова с торчащими ушами. Про час двадцать. Про шестерых в траншее.

Витька будет слушать и не перебивать.

Когда человек уйдёт — Витька долго будет сидеть за столом. Перед ним лежит свёрток — кусок сахара, два карандаша, листок отцовским почерком. Он возьмёт один карандаш и будет держать его в руках и смотреть в стол.

Восьмисот. Шестеро. Час двадцать.

Он будет сидеть так долго.

Потом встанет.

Оденется.

Выйдет на улицу — уральский январь, темно в три часа дня, мороз, снег скрипит под ногами. Пройдёт квартал. Ещё квартал. Остановится у забора чужого двора и постоит, глядя в тёмное небо. Дым от ТЭЦ висит над районом — тяжёлый, неподвижный.

Ничего не решит в эту минуту — решение уже было принято, просто он ещё не знал об этом.

Или знал.

Постоит ещё немного.

Развернётся.

Пойдёт домой.

Глава 4. Восемь метров

Нижний Тагил встретил их в ноябре темнотой и запахом горелого металла.

Автобус — старый, с выбитым боковым стеклом, заткнутым мешковиной, — полз через весь город час двадцать минут. Витька стоял, потому что сидячих мест не было: все сиденья заняты эвакуированными с вещами, и он держался за поручень и смотрел в окно на трубы. Труб было много — три высоких, одна пониже, все дымили. Дым был разный: белый, бурый, почти чёрный. Витька смотрел на него и думал: вот и приехали.

Мать стояла рядом и молчала. Это было новое молчание — не то, которое бывало дома в Калуге, когда она проверяла тетради и просто не разговаривала. Это было молчание человека, который смотрит на незнакомое место и понимает, что теперь это его место. Навсегда или нет — непонятно. Но сейчас — его.

Наталья Сергеевна до войны вела русский язык и литературу в школе номер пять на улице Кирова. Витька сидел в третьем ряду у окна и знал, что мать — это мать, а учительница Наталья Сергеевна — это немного другой человек: строгий, с мелом на пальцах, с голосом, который не обсуждается. Дома она была просто мамой. В автобусе, в ноябре сорок первого, она была и тем и другим сразу, и Витька не знал, как это назвать.

Барак номер семь стоял там, где асфальт кончался и начиналась земля — смёрзшаяся, исполосованная следами сапог. Дальше шёл пустырь, дальше — забор из горбыля, дальше — трубы. Витька смотрел на забор и думал про их двор в Калуге: там был тополь и скамейка, и Сашка Гринёв жил на третьем этаже и всегда свистел условным сигналом из окна — два коротких, один длинный. Сашка сейчас где-то. Может, тоже эвакуирован. Может, нет.

Комната восемнадцать. Восемь метров.

Войдёшь — и сразу упрёшься в кровать. Железная, с никелированными шарами на спинках, явно чужая — или просто всегда здесь бывшая, как дверь и окно. Матрас шуршал при каждом движении. Мать застелила его простыней из Калуги — белой, с мелкой вышивкой по краю — и сразу стало немного лучше. Хотя бы что-то своё.

У правой стены — раскладушка для Витьки. Между кроватью и раскладушкой — тумбочка. Больше в восьми метрах ничего не помещалось, если не считать двух чемоданов под кроватью. На тумбочку мать положила вышитую салфетку, привезённую из Калуги, — белую, с голубыми незабудками по краю. Салфетка была совершенно неуместна среди некрашенных досок и запаха чужого жилья. Именно поэтому Витька смотрел на неё каждое утро: она напоминала, что до этого было что-то другое.

На подоконнике — широком, деревянном, с пятнами от чужих цветочных горшков — мать поставила том «А. С. Пушкин. Сочинения в одном томе» — синий переплёт. Единственную книгу, которую взяла. Витька спросил: почему одну? Она ответила: «Одну — не тяжело». Витька подумал: это не про вес.

За фанерной перегородкой жила Зинаида Петровна Ракова с двумя дочерьми.

Маше было восемь лет, Тоне — пять. Они были из Тулы, приехали в октябре. Зинаида работала в ночную смену — приходила в половину шестого, гремела умывальником в коридоре, потом за стеной затихало. Маша по утрам выходила в коридор и молча смотрела на Витьку, пока он надевал ботинки. Не из любопытства — просто смотрела. Тоня иногда плакала во сне. Через фанеру было всё слышно.

С другой стороны жил дядя Коля — Николай Фёдорович Устинов, токарь, пятьдесят четыре года. Сердце не взяли. Он жил один, по воскресеньям иногда стучал в стену — условный знак, что зовёт играть в шахматы. Шахматы у него были самодельные: берёзовые чурочки, все одного цвета, различались насечками.

— Ферзь — с крестом, — объяснял дядя Коля. — Король — без ничего. Запомни: самый главный всегда ничем не отмечен.

Витька не сразу понял, про что это. Потом понял — не про шахматы.

В конце коридора жила семья Гавриловых: Степан с культёй вместо правой руки, Клавдия и трое детей, младшему не было года. Ребёнок кричал иногда в четыре утра — тогда просыпался весь барак, и все молчали и ждали, пока кончится. Витька лежал и слушал этот крик и думал: почему от него так тяжело на душе, если это просто ребёнок и он просто голодный.

Потом понял: потому что все слышат — и все делают вид, что не слышат. Потому что помочь нечем. И это тяжелее самого крика.

По утрам Витька вставал в половину шестого.

Одевался в темноте, стараясь не скрипеть раскладушкой. Телогрейка — ватная. Шапка — своя, кроличья, потёртая. Ботинки с портянками. Портянкам научил дядя Коля в первую неделю, когда увидел шерстяные носки.

— Портянку мотай с натягом, от носка к пятке, без складок, — сказал он. — Складка за смену собьёт до крови. А тебе ещё обратно идти.

Обратно — это четыре километра. Туда — тоже четыре.

Автобус ходил раз в час и всегда был набит так, что войти в него было отдельным умением, которым Витька не овладел: маленький, его просто не пускали. Поэтому — пешком. Зимой в темноте по утоптанной полосе между сугробами. По этой же полосе шли другие — в телогрейках, молчаливые, с узелками или без. Никто не разговаривал. Иногда кто-то кашлял. Пар от дыхания висел в воздухе и не рассеивался.

Витька шёл и смотрел на трубы.

Трубы были видны ещё от барака — в темноте, по огню в дыму. Он выучил: белый дым с левой трубы — катят броневой лист. Бурый с правой — что-то другое, он не знал точно что. Это знание ни к чему не было нужно, он просто смотрел и знал: завод работает, завод не останавливается. Значит, всё идёт.

Сорок минут пешком. В большой мороз — сорок пять.

На завод его взяли в декабре.

Наталья Сергеевна ходила к Горбунову дважды. Горбунов — начальник цеха, невысокий, с тяжёлыми руками и привычкой смотреть в сторону, когда думает, — выслушивал её до конца. Оба раза.

— Ему двенадцать лет, — говорила она. — Он ребёнок.

— Школа работает в вечернюю смену, — отвечал Горбунов. — С восемнадцати. На заводе у него восемь часов, не больше. Мастер будет Громов, Семён Ильич. Он умеет.

Второй раз она пришла снова. Горбунов выслушал снова. Потом сказал, не глядя на неё:

— Наталья Сергеевна. У меня в цеху сейчас стоит мальчик, которому одиннадцать. Пришёл сам, без матери. Сказал: возьмите. — Горбунов помолчал. — Я его взял.

Наталья Сергеевна молчала. Витька стоял рядом и видел, как она держит ручку сумки — крепко, пальцы побелели.

— Хорошо, — сказала она.

Горбунов уже смотрел в бумаги. Потом, не поднимая головы:

— Наталья Сергеевна. Вы учитель?

— Да.

— Русский язык?

— Русский и литература.

Он кивнул. Помолчал.

— У меня сын в девятом классе писал с ошибками. — Пауза. — Теперь некому проверить.

Больше он ничего не сказал.

Домой шли молча. У барака она остановилась и посмотрела на него — не как мать смотрит на ребёнка, иначе. Как смотрят на человека, которому собираются сказать что-то важное и не знают — нужно ли.

— Витя, — сказала она. — Если будет очень плохо — скажи мне. Не молчи.

Он кивнул.

Он не знал тогда, что «очень плохо» — это не постоянная величина. Что через месяц то, что казалось ему плохим в первую неделю, будет называться просто рабочим днём.

Семён Ильич Громов встретил его у ворот цеха в семь утра.

Невысокий, плотный, в замасленном ватнике поверх гимнастёрки — гимнастёрку носил всегда, с германской войны, Витька понял это позже. Руки большие, с тёмным маслом в коже, которое не отмывалось никаким мылом. При знакомстве ничего не сказал. Просто: «Пойдём».

В цеху Витька остановился.

Грохот был такой, что первые секунды казалось — это внутри головы. Запах масла, горячего металла, чего-то кислого. Свет — яркий, без теней, слепящий после уличной темноты. И везде станки — серые туши с рычагами и патронами, люди рядом с ними: мужчины, женщины, подростки, — все сосредоточенные, все в одинаковых телогрейках.

— Не вертись, — сказал Семён Ильич. — Смотри под ноги. Стружка порежет.

Стружка была везде — металлические спирали, блестящие под лампами. Витька смотрел под ноги.

Три дня Семён Ильич только показывал. Не объяснял много — показывал руками: вот так фиксируй деталь, вот так подводи сверло, вот так слушай, как идёт. Витька стоял рядом, смотрел и слушал. Грохот цеха через три дня перестал быть грохотом — стал фоном, как дождь за окном.

На четвёртый день Витька встал к станку сам.

Деталь — металлический прямоугольник с закруглёнными углами. Тяжелее, чем кажется по размеру. Отверстие три на шесть, по шаблону, строго по центру. Норма — сто восемьдесят за смену.

Первая деталь вышла с перекосом.

— Видишь? — спросил Семён Ильич.

— Вижу.

— Почему?

Витька думал.

— Руки повели.

— Правильно. Ещё раз.

Семён Ильич не ругал за брак. Не хвалил за удачу. Просто спрашивал: видишь? Почему? Ещё раз. Это было похоже на то, как мать объясняла разбор предложения — не давала ответ, а вела к нему вопросами. Витька это заметил, но не сказал вслух.

В первый день он сделал девяносто четыре детали.

В тот же декабрь он порезал ладонь о блестящую спираль и понял, что предупреждение было точным.

Возвращался в темноте. Комната была пустая — мать на смене. Он снял ботинки у порога и сел прямо на пол, потому что до раскладушки было ещё три шага, а три шага — это много.

Сидел и смотрел на подоконник.

Пушкин стоял там, где мать его поставила в первый день — тот самый том «Сочинения в одном томе», синий переплёт, немного пыльный с торца. Витька не взял его в руки — просто смотрел.

Мать взяла одну книгу из всей Калуги. Из всей прожитой жизни — одну. Значит, в одной книге помещается что-то важное. Что именно — он не знал. Пушкина он читал в школе, как все: «Буря мглою», «Мороз и солнце». Любил не очень.

Но то, что книга здесь, — это было хорошо.

Он встал. Прошёл три шага до раскладушки. Лёг в телогрейке.

Завтра — встанет.

Домой шёл еле. Четыре километра казались двадцатью. Думал: завтра не смогу. Не мог представить, как встанет и пойдёт обратно.

Встал. Пошёл.

На второй неделе на заводе выдали ватник — тёплый, с номером цеха на подкладке.

Цех жил своей жизнью, которую Витька осваивал медленно.

Через два станка от него работала Нюра Тихонова — шестнадцать лет, из Ленинграда, эвакуирована в августе. Нюра работала быстро, руки двигались сами, она почти не смотрела на деталь. В перерыв — пятнадцать минут — садилась на ящик в углу, ела хлеб из кармана, смотрела в стену. Однажды Витька сел рядом.

— Ты давно здесь? — спросил он.

— С сентября.

— И как?

Нюра пожала плечами.

— Никак. Работаешь — и всё.

С тех пор в перерыв садились рядом. Иногда она давала ему хлеб — у неё была рабочая карточка на шестьсот граммов, и она ела мало. Витька сначала отказывался. Потом перестал.

Через пролёт, у токарного, стоял Саша Мельников — четырнадцать лет, из Москвы. Саша всегда был голодный и всегда улыбался. Витька долго не мог понять, как эти два состояния уживаются в одном человеке.

— Просто так выходит, — сказал Саша однажды, когда Витька спросил.

Семён Ильич ходил по цеху медленно. Останавливался у каждого станка. Иногда поправлял — без слов, просто брал руки и показывал. Когда шёл брак — подходил, смотрел, говорил одно слово. Второй раз — два слова. Третий — молчал. Это молчание было хуже любых слов.

К февралю Витька делал двести деталей за смену.

Семён Ильич подошёл к нему в конце того дня. Ничего не сказал. Кивнул — один раз, коротко. Витька понял: это много.

Карточки он получал сам — с первого месяца.

Наталья Сергеевна отдала ему книжки без объяснений. Просто положила на тумбочку, рядом с Пушкиным. Витька принял без вопросов.

Карточки были двух видов. Его — рабочая, шестьсот граммов хлеба. Матери — не иждивенческая, как у Зинаиды за стеной, а по аттестату: отец был командиром, и семья командира получала иначе. Шестьсот граммов хлеба, крупа, жиры — по норме выше гражданской. Наталья Сергеевна об этом не говорила вслух — в бараке были люди, у которых аттестата не было. Зинаида получала четыреста. Витька это знал и молчал тоже.

Магазин был в двух кварталах. Очередь начиналась с шести утра. В морозные дни люди стояли молча, переступали с ноги на ногу. Иногда кто-то уходил — не выдержал стоять. Витька стоял. Смотрел в спину впереди стоящего и думал о деталях, о шахматах, об отце.

Про отца думал по-разному.

Иногда — конкретно: вот он входит в комнату, вот садится, вот берёт газету. Иногда — без образа, просто знание: он есть, он где-то, живой. Иногда это знание начинало качаться — и Витька переставал думать и смотрел в спину впереди стоящего.

Письма от отца приходили редко. Треугольники, сложенные неровно, с адресом карандашом — иногда размытым. Витька узнавал почерк сразу: торопливый, с длинной перекидной у «т».

Наталья Сергеевна читала письма дважды. Сначала одна, у окна, спиной к Витьке. Потом — вслух. При втором чтении голос у неё не менялся — ровный, учительский. Витька смотрел на её руки: пальцы на сгибе треугольника белели.

Отец писал коротко. «Живы, держимся». «Береги маму». Иногда — одна подробность, живая, неожиданная среди казённых слов: «Нашли патефон в разбитом доме, и он играет». Или: «Снег здесь как у нас во дворе, помнишь снеговика в тридцать девятом, мы надели на него твою старую шапку».

Витька помнил снеговика. Шапки жалко не было.

Отвечал сам. Писал про завод, про дядю Колю, про норму. Не писал про то, что в декабре три дня не мог разогнуть пальцы правой руки и боялся — вдруг это навсегда. Не писал про холод в комнате. Думал: зачем. Не поможет.

Фёдор пришёл в марте сорок второго.

В среду, в половине третьего, когда Наталья Сергеевна была на смене, а Витька только вернулся с завода. Он сидел на раскладушке в телогрейке — в комнате было холодно, и снимать её не хотелось. Просто сидел и смотрел на Пушкина на подоконнике.

В дверь постучали.

На пороге стоял человек лет тридцати пяти в шинели. Без шапки. С костылями — деревянными, самодельными, с намотанными тряпками на подмышниках. Лицо как у человека, который долго ехал и ещё не понял, что приехал. Под мышкой свёрток в газете, перевязанный бечёвкой.

— Ты Витя? — спросил он.

— Я.

— Я с отцом твоим. — Помолчал. — Фёдор. Можно войти?

Витька посторонился.

Фёдор вошёл, огляделся — без любопытства, просто посмотрел: стены, кровать, тумбочка с салфеткой, книга на подоконнике. Так оглядываются люди, которые видели много разных комнат и давно перестали их различать. Сел на единственный стул — тяжело, сначала поставив костыли к стене с аккуратностью человека, который делает это много месяцев. Свёрток положил на тумбочку, на вышитую салфетку с незабудками.

— Живой, — сказал он. — Это главное.

Витька смотрел на свёрток.

— Развяжи.

Узел задубел от мороза — Витька возился дольше, чем нужно. Фёдор не торопил. Сидел и смотрел в окно на пустырь.

В газете лежало: кусок колотого сахара в тряпице и два карандаша — один совсем короткий, почти огрызок, второй длинный, остро очинённый. И записка.

Витька развернул.

Отцовский почерк. Торопливый. Длинная перекладина у «т».

«Живой. Береги мать».

Три слова.

Он читал их дольше, чем нужно для трёх слов.

— Как он? — спросил Витька, не поднимая головы.

Фёдор не ответил сразу.

Витька поднял голову.

Фёдор смотрел на него — не с жалостью. Что-то другое, тяжелее жалости. Как будто взвешивал.

— Живой, — сказал Фёдор. — Это правда. Врать тебе не буду — ты уже не маленький. — Он переставил костыль. — Осколок у него. Под сердцем. Близко. Врачи не трогают — говорят, опаснее трогать, чем оставить. Лежит. Пока не двигается.

Витька слышал слово «осколок» — слышал его на заводе, в бараке, по радио. Знал, что это такое. И всё равно сейчас оно легло как-то по-другому — не как слово, а как вещь.

— Он воет? — спросил Витька.

— Воет. После госпиталя — снова в строй.

Витька кивнул. Снова посмотрел на карандаши. Короткий — совсем стёртый, до половины. Отец пользовался им. Держал вот этот карандаш.

— Как это было? — спросил он.

Фёдор помолчал. Потом посмотрел на него прямо.

— Нас было восемьсот, — сказал он. — Ополчение. Учителя, инженеры, студенты — кого армия не взяла. Под Наро-Фоминском, в ноябре. Немцы шли на Москву. Нам дали задачу: задержать на час. — Он остановился. — Одна винтовка на троих.

Витька слушал. Не перебивал.

— Мы держали час двадцать. По его словам, из восьмисот вышли шестеро. Все ранены. Твой отец — один из шести.

Витька не сразу понял. Потом понял.

Восемьсот. Шестеро.

Он попробовал представить восемьсот людей. Не смог — это было как пытаться представить расстояние до другого города: знаешь цифру, а сама даль не помещается в голове. Потом попробовал представить шестерых: дядя Коля, Зинаида, Маша, Тоня, Нюра, он сам. Вот шестеро — живые, рядом, за стенами барака. Из восьмисот — шестеро, как они.

— Матери не говори как было, — сказал Фёдор тихо. — Про восемьсот. Про шестерых. Скажи: живой, передал привет. И всё.

— Почему? — спросил Витька.

Фёдор смотрел в окно.

— Она ждёт. Когда ждёшь — считать нельзя. Начнёшь считать — сломаешься. А ей нельзя ломаться. —

Помолчал. — Ты понял?

Витька понял.

— Понял, — сказал он.

Фёдор кивнул. Взял костыли — тем же привычным движением, не глядя. Встал. Постоял секунду — может, ждал, что Витька что-то ещё спросит.

Витька не спросил.

— Я пойду, — сказал Фёдор. — Мне ещё до вечера успеть надо.

— Чаю, — сказал Витька. Не предложил даже — просто сказал слово.

Фёдор помотал головой.

— Не надо.

Он дошёл до двери. На пороге обернулся — не сразу, как будто что-то вспомнил.

— Он про тебя говорил, — сказал Фёдор. — Там, в госпитале. Ночью. Бредил иногда. Говорил про книги какие-то. Пушкин — говорил. — Он посмотрел на подоконник. — Вот эта?

— Вот эта, — сказал Витька. — «Сочинения в одном томе».

Фёдор смотрел на неё секунду. Потом отвернулся и вышел.

Витька слышал, как стучат костыли по коридору. Потом по лестнице. Потом не слышал ничего.

Он сел на раскладушку.

Карандаши лежали на тумбочке — длинный и короткий. Записка рядом. Три слова.

Он взял короткий карандаш. Подержал.

Дерево было тёплое — комнатное уже, отогрелось. Но Витька всё равно держал его как что-то хрупкое. Как будто в нём ещё было что-то отцовское, что можно было сломать, если не осторожно.

Наталья Сергеевна пришла в восемь.

С порога сказала: «Устала». Сняла пальто. Увидела свёрток — газету уже сложенную, сахар на тумбочке.

— Что это?

— Отец передал, — сказал Витька. — Живой. Привет передаёт.

Она стояла и смотрела на сахар.

Долго стояла.

Потом подошла, взяла записку. Прочитала три слова. Положила обратно. Очень аккуратно, точно на то же место.

— Кто принёс? — спросила она.

— Человек один. Фёдор. Они вместе были.

— Живой, — сказала она. Не спросила — сказала. Как будто проверяла, как это слово держится.

— Живой, — подтвердил Витька.

Она кивнула. Прошла к плите. Зажгла огонь. Поставила кружку — просто чтобы были заняты руки.

Тишина тянулась. Шипела вода.

— Он сказал... — произнёс Витька. — Одна винтовка на троих. И что из... — он запнулся.

Наталья Сергеевна подняла ладонь.

— Не надо, — сказала она тихо. — Без цифр. Я поняла. — Она поставила кружку слишком резко, пламя на плитке качнулось. — Скажи мне одно. Он живой?

— Живой, — сказал Витька.

Она кивнула. Отошла к подоконнику. Взяла книгу — тот самый том «А. С. Пушкин. Сочинения в одном томе», синий переплёт в темноте был чуть светлее ночи. Вернулась. Села на край его раскладушки. Пальцы на корешке побелели.

— Почему мы дошли до Москвы? — спросил он негромко. — Мы же больше. Почему такая пропасть?

Она посмотрела на него и только тогда заговорила — ровно, как на уроке, но тише обычного:

— Ты знаешь про Молоди? — спросила она.

— Нет.

— Тысяча пятьсот семьдесят второй год. Крымский хан пришёл жечь Москву. Сто двадцать тысяч. Воротынский встретил его с двадцатью пятью. Пятеро на одного — против нас. И всё равно — разбил. Пять дней. Знаешь почему?

— Нет.

— Потому что у нас были лучшие пушки в Европе. Тогда — лучшие. Гуляй-город. Лёгкая, быстрая артиллерия. Хан гнал конницу в лоб — а его косили картечью. Не число, Витя. Технология и организация.

Она говорила спокойно, как на уроке, но держала книгу крепко, двумя руками.

— А потом Иван умер. Смута. Трон делили — не до пушек. Мастера умерли, учеников не выросло. А мир не ждал. Тридцатилетняя война учила Европу каждый год. Шведы к её концу имели лучшую артиллерию.

— Нарва, — сказал Витька тихо.

— Нарва, — повторила она. — Тысяча семьсотый. Пётр привёл восемьдесят тысяч. Карл — восемь. И наша армия побежала от восьми. Сто сорок пять орудий бросили в снег. Потому что у Карла были лучшие пушки и лучшая система, а у нас — то, что осталось от смуты.

Она провела пальцем по корешку.

— Пушкин это нашёл в бумагах — донесениях, приказах. Ему открыли архивы. Он искал «почему» и увидел закон: побеждает тот, у кого технология лучше. Под Молодыми — мы. Под Нарвой — они. Это не про число. Это про умение, организацию, металл.

— И сейчас тоже, — сказал Витька.

— Да. Первая мировая, революция, гражданская, тиф, голод. Много кто уехал, кто остался — выживал. Не до заводов. Германия работала двадцать лет. К сорок первому у них было лучше. Поэтому — отступали. До Москвы.

Она подняла глаза.

— А Пётр после Нарвы не сломался. Снял колокола, переплавил. Триста орудий за два года. Привёл мастеров. Учился у тех, кто умел. Девять лет — и под Полтавой лучшие пушки были у нас. Тот же закон. Та же работа.

За окном — трубы. Огонь в дыму. Не переставая.

— Заводы, — сказал Витька.

— Да. Эвакуировали всё, что можно. Собирают под открытым небом, крыши ещё нет, а станки уже работают. Это и есть колокола, Витя. Чтобы была своя Полтава.

Она встала. Отнесла книгу на подоконник. Поставила точно на то же место.

— Вот ты и стоишь у станка, — сказала она, не оборачиваясь. — Теперь ты знаешь зачем. Не просто деталь выточить. Чтобы догнать и перегнать.

— Мы успеем? — спросил он.

Она долго молчала.

— Пётр успел, — сказала она наконец. — За девять лет.

Ночью Витька не спал. Он не сказал ей цифр — понял, где проходит черта.

Мать уснула быстро — слышно было по дыханию, ровному, глубокому. Устала. Витька лежал на раскладушке и смотрел в потолок.

Пятно в углу — Каспийское море.

Он лежал и думал про восемьсот. Не мог не думать.

Фёдор сказал: не говори матери. И он не скажет — понял, почему нельзя. Но самому думать никто не запрещал.

Восемьсот человек. Учителя. Инженеры. Студенты.

Одна винтовка на троих.

Он думал про двоих из этих троих — про тех, кто без оружия. Стоят и ждут. Не бегут, не прячутся — стоят. Ждут, пока освободится винтовка. Освобождается она только одним способом.

А против них — немецкие танки.

Витька представил это. Мороз, поле, ноябрь. Ты стоишь. В руках — ничего. Перед тобой — броня. Гусеницы. Железо, которое не остановить тем, что у тебя есть. И ты стоишь.

От этого у него перехватило дыхание — не от страха, от чего-то другого. От понимания, какое расстояние между тем, что у тебя есть, и тем, что против тебя. Какая это пропасть.

Из восьмисот вышло шестеро.

Отец — один из шести.

Витька лежал и смотрел в потолок, и думал, и не мог остановить одну мысль, которая ходила по кругу: почему так вышло. Не почему отец выжил — это не то. Почему восемьсот человек стояли с одной винтовкой на троих против танков. Почему такая пропасть.

Он перевёл взгляд на подоконник — синий корешок на прежнем месте. Книга как будто светлее темноты.

Пётр успел за девять лет.

Сорок первый. Сорок второй. Ещё семь лет — нет, меньше, должно быть меньше, потому что заводы уже работают, потому что станки уже гудят за четыре километра отсюда, потому что он сам делает двести деталей в смену.

Но восемьсот человек держали линию тогда, когда заводы ещё только везли в эшелонах.
Одна винтовка на троих.

Против немецких танков.

Они стояли — чтобы было время. Чтобы успели привезти станки. Чтобы успели поставить стены и крышу. Чтобы Витька успел встать к станку и начать делать детали, из которых будут пушки лучше немецких.

Как Пётр плавил колокола — чтобы под Полтавой были пушки лучше шведских.

Отец держал линию.

Отец был одним из тех, кто стоял с пустыми руками и ждал своей очереди взять винтовку.

Витька закрыл глаза.

Думал про сто сорок пять орудий в снегу под Нарвой. Про колокола, снятые со всей России. Про Полтаву. Про восемьсот человек в поле. Про шестерых, которые вышли. Про осколок, который лежит тихо и умеет ждать.

Про станок, к которому встанет утром.

За окном плавилась колокола двадцатого века.

Он уснул незаметно — просто в какой-то момент темнота стала другой, и Каспийское море на потолке растворилось, и трубы за окном остались, но уже не думались, просто горели где-то далеко, ровно, не переставая.

Утром Витька встал в половину шестого.

Оделся в темноте. Взял со стола треугольник с письмом. Посмотрел на него секунду — на адрес, написанный цифрами, которые знал наизусть. Положил во внутренний карман телогрейки, к груди.

Вышел на улицу.

Уральский март — темно в шесть утра. Мороз ещё держит, но уже не тот — не январский, не насквозь, а поверхностный, кожей. Снег под ногами скрипел иначе, чем зимой: чуть мягче, чуть влажнее. Почти незаметно. Но Витька уже умел слышать разницу — четыре месяца учишься слышать разницу.

Шёл по утоптанной полосе между сугробами. Рядом — другие, молчаливые, в телогрейках. Пар от дыхания. Утром не разговаривают. Утром просто идут.

Почтовый ящик висел на столбе у поворота — синий, потрескавшийся, с замёрзшей петлёй. Витька остановился. Достал треугольник из-за пазухи — тёплый от тела.

Открыл петлю. Опустил письмо.

Постоял секунду с рукой на крышке. Потом отпустил.

Крышка хлопнула.

Он пошёл дальше.

Трубы впереди — огонь в дыму, оранжевый, медленный. Завод работает. Завод не останавливается. Сорок минут пешком. Двести деталей.

Он шёл и думал про одно:

Я скоро буду рядом с тобой.

Написал — и правда.

Не сейчас. Но правда.

Эпилог главы

Той же ночью осколок под сердцем отца лежал тихо.

Так бывает: маленький кусок металла, вошедший в тело в ноябре сорок первого, умеет ждать. Он не торопится. У него нет никаких дел, кроме одного, и он никуда не спешит.

Витька этого не знал.

Знал только то, что написал: скоро рядом.

Этого пока было достаточно.

Глава 5. Береги

Витька проснулся от того, что за стеной поскрипывали половицы.

Тонкий, осторожный скрип — как будто человек старается не разбудить тех, кто спит. Он открыл глаза: в комнате было синевато — ещё ночь, но уже сдаётся. В углу темнел их умывальник на трёх ножках, на подоконнике — синий корешок: тот самый том Пушкина. На корешке — чуть светлее темноты — полоска потёртости.

— Спи, — сказала мать вполголоса. — Рано ещё.

Она стояла у тумбочки, завязывала платок. Накинула ватник на платье — чужой, великоватый: рукава подогнуты под подол. В руках — холщовая сумка, та самая, с которой они приехали в Тагил: давно потеряла форму, но держалась. Сумка шуршала, когда она проверяла: карточки на хлеб, справка, ложка — на всякий случай.

— Мам, — сказал Витька негромко. — Я встану в пять. У меня первая смена.

— Знаю, — кивнула. — Потому и иду сейчас. Очередь. Чем раньше — тем быстрее.

За фанерной перегородкой шорох. Босые шаги. В их комнату заглянула Маша Ракова — соседская, тулячка, восемь лет. Молча постояла. Увидела, что Наталья Сергеевна в платке, и ушла.

— Не ходи полем, — произнёс дядя Коля из-за стены, не громко. — Там тропа, конечно. Но в темноте... — Кашлянул. — Волки шатаются.

— Не тёмно уже, — ответила Наталья Сергеевна так же тихо. — И не одна пойду. Малышей возьму. Колонка замёрзшая, а у магазина — ближе до школы. — Пауза. — Всё равно идти.

— Всё равно, — согласился дядя Коля.

Дети спали тесно, как вещи в узелке. Маруся — четырнадцать — на раскладушке у стены, укрывшись пальто. Анатолий — восемь — на матрасе на полу, вполоборота, будто охраняет. Галина — шесть — и Валя — четыре — поперёк большой кровати под одним ватным одеялом. Лицами к доскам. От щёк шёл едва заметный пар. У Галины сопел нос — осенний кашель не проходил.

— Зачем их будить, — сказал Витька. — Я сбегаю потом.

— Нельзя, — спокойно ответила Наталья Сергеевна. — На детские карточки иногда спрашивают. — Не поднимая глаз: — И им в школу к девяти. И в группу. Всё равно в ту сторону.

Это прозвучало, как она говорила про пунктуацию: спокойно и окончательно. Спорить было бессмысленно.

Она подошла к окну. Провела пальцем по пыли рядом с книгой. Поставила Пушкина «ровнее». Взяла со стола треугольник письма, привычно глянула на цифры адреса — как будто взглядом удерживает порядок, — вернула на место.

Витька приподнялся на локте. Спросил негромко:

— Мам, а зачем ты её взяла? Книгу. Тяжело ведь. Вещей — и так много, а ты — её. Почему?

Наталья Сергеевна помедлила. Посмотрела на синий корешок, потом на Витьку — и сказала так, как говорила на уроках, когда объясняла что-то важное:

— Потому что Пушкин — это вера. Он написал, как было поражение — под Нарвой. Все думали: конец. А потом была Полтава. Победа. — Она помолчала, провела пальцем по корешку. — Я знаю: сейчас — тоже Нарва. Немцы под Москвой. Но будет Полтава. Будет. Это — главное. Книга — чтобы помнить. Чтобы не забыть, даже когда очень страшно. Понимаешь?

Витька кивнул. Сказал:

— Понимаю.

Она улыбнулась — тем коротким уголком губ. И пошла будить детей.

— Анатолий, — шепнула. — Галя. Валя. Потихоньку. Тихо.

Анатолий сел сразу — как на построении. Галина проямлила и спрятала нос глубже в одеяло. Валя открыла глаза широко, как будто удивилась самой ночи. Наталья Сергеевна коснулась ладонью Галиных волос.

— Пойдём. Хлеб возьмём — и в школу. И в группу. Я с вами. Быстро-быстро.

Галя кивнула. Тихо вдохнула носом и тут же закашляла — тот самый сухой кашель, который лечится только теплом, а тепла зимой не было ни у кого.

— Шарф, — сказала мать. — На нос.

Оделись быстро: подштанники, чулки, платья, ватнички, валенки, платочки, шарфы через рот. Анатолий натянул на уши вязаную шапку — тугую. Валя держала куклу за талию — не отпускала.

— Карточки, — сказала Наталья Сергеевна вслух, будто себе. — Карточки, паспорт. Справка. Ложка. — Закрыла сумку. — Всё.

— Мам, — сказал Витька так же тихо. — Смотри.

— Буду, — ответила. — И ты смотри. На руки — у станка.

Улыбнулась — кратко, одним уголком. Смотрела мимо него — на ту полосу пола между кроватью и тумбочкой, где утром всегда светлее.

Они вышли.

Дверь закрылась. В комнате стало чуточку темнее — как бывает, когда ушли одни и оставили других. За стеной дядя Коля кашлянул ещё раз. Где-то в коридоре скрипнула половица — Маша, наверное, выглянула и снова спряталась.

Витька лежал и слушал. Мог бы уснуть — сорок минут до подъёма, а сорок минут — это жизнь в феврале. Повернулся на бок, подтянул колени. Не уснул.

Перед глазами встал весь день: очередь с шести, женщины с сумками, пар от ртов, хруст настиленной дорожки. Дорога — через пустырь. Тропа — её знают все. Магазин «Хлеб», печь внутри, запах теста и мокрых валенок. Потом — школа. Анатолий — во второй. Галина — в подготовительной. Валя — в младшей группе при школе. У доски — мел. В коридоре — ведро со льдом. И глаза — и у детей, и у взрослых — одинаковые: как будто кто-то вынул из каждого лишний кусок света, оставил ровно столько, чтобы видеть дорогу.

Он проснулся до конца не от звука, а от тишины. Тишина стала иной — настороженной. Показалось: где-то далеко, на улице, — крик. Не ясно — детский или женский. Потом — много голосов. В коридоре скрипнули двери, кто-то побежал.

— Что там? — спросила Зинаида за фанерой.

— Не знаю, — ответил дядя Коля и уже вставал — скрипнул стул.

Витька сел. Накинул телогрейку поверх белья. Вышел в коридор в носках — не надев ботинок, — и побежал туда, где тянуло морозным воздухом.

Коридор длинный, лампочка под жестяным козырьком. В конце — дверь настежь. В проёме — люди: женщины в платках, мужики без шапок, кто-то в полушубке нараспашку. Разговаривали хором, но как будто шёпотом — много голосов, а громкости нет.

— Волки, — сказал кто-то. — По тропе.

— Да не бывает, — возразил другой. — Они лесом ходят.

— Бывает, — отрезал третий. — Вчера на скотном — телёнка. Сегодня пустырём — на людей. Голодно им. Зима.

Слово «волки» прошло через Витьку как воздух снаружи — холодный, с железным запахом. Он вспомнил: ночью дядя Коля говорил. Вспомнил: мать махнула рукой — «не тёмно».

— Кто? — спросил Витька, хотя уже знал, что нельзя спрашивать: ответ всё равно упрётся в их дверь, в их восемь метров.

— Женщина с ребяташками, — сказал тот же голос. — Наши. На хлеб шли.

Его будто ударило изнутри ладонью в грудь — не больно, а так, чтобы остановить дыхание. Он сделал шаг. Второй. Вышел на площадку перед бараком — узкую, где летом — веники, а зимой — только следы.

На пустыре — люди, человек десять. Ещё бежали от соседних бараков. Впереди, на тропе к магазину, — пятно, как клочья, у которых рвётся край. Кто-то махал руками. Один голос — сиплый, почти без звука: человек кричит, но уже не может.

— За вилами! — крикнул кто-то рядом. — Палку! Палку дай!

Жердь от белья, ломик, лопата — хватали, бежали, падали, вставали.

— Витька! — дядя Коля схватил его за локоть. — Не смей!

— Там мама, — сказал Витька. И вырвался.

Наст под ногами был жёсткий, как стекло. Резал через валеночные носки — хотя на нём были только носки. Дышать было трудно: воздух был сразу холодный и горячий — внутри как от печки, снаружи как от открытой двери в мороз.

На тропе, метрах в двадцати, уже не шум. Тишина. Точка. Та, что громче крика.

Люди стояли полукругом. В середине — примятый наст, пятна — не красные, тёмные. Три маленькие фигурки сидели, прижавшись к друг другу. Одна — в платочке с мокрым от дыхания пухом. Вторая — в шапке, с шарфом, сбившимся на подбородок. Третья — в маленьком платочке, с куклой в руке — кукла мокрая. Сверху — женщина. Легла на них, как накрывают чем-то единственным тёплым. Плечи подняты. Руки — широко. Пальцы — в снег.

Волков уже не было.

Один — дальше, у кромки пустыря. Серый, вытянутый. Не похожий на собаку ничем — кроме четырёх ног. Стоял и смотрел в сторону леса. Шерсть на хребте — как трава после ветра. Он постоял секунду и ушёл — не побежал, а ушёл, оставляя провалы от лап.

— Пошёл! — крикнул кто-то ему вслед — бессмысленно.

— Не подходи, — сказала женщина из толпы. — Дети.

Анатолий сидел ближе к матери — как щит. Лицо — белое, губы — в тонкую линию, глаза — большие, взрослые. Галина — прижалась сбоку, шарф на носу съехал, иней прилип к щеке. Валя сжимала куклу за талию — крепко, как за канат. Она тихонько всхлипывала, как птица.

Галина вдруг расплакалась — не громко, судорожно, как человек, который был под водой и теперь натягивает воздух на грудь. Анатолий не заплакал. Он сидел и дышал часто-часто, будто отмерял дыханием «я тут».

Витька опустился на колени. Поднял Галине шарф — на рот, как мать. Придержал ладонью — чтобы не съехал. Валю он взял на руки — лёгкая, как всегда, когда подбрасывал её на раскладушке и боялся, что ударится о балку. Прижал к груди. Анатолия потрогал за плечо — тот кивнул: живой.

— Идём, — сказал Витька тихо. — Все идём.

— Мамы нет, — сказала вдруг Маруся, появившись из-за спин — она бежала следом, как только слышала крик. Голос у неё был сухой, взрослый. — Мамы нет.

И сказала так, как говорят взрослые, когда им нужно что-то изменить словами. Это было не «мама умерла». Это было не «мамы нет» вообще — как будто она ушла. Это была констатация: то, что лежит на снегу, — это уже другая вещь.

— Санки, — сказала женщина из толпы. — Надо на санках.

— Где взять? — спросили.

— У Клавдии были, — отозвался кто-то. — У Гавриловых. Для младшего.

— Бегу, — сказал семилетний из другого барака — и побежал.

Старая дверь нашлась рядом — её вытащили из кладовки. Дверь стала санями. На неё положили Наталью Сергеевну — аккуратно, как она только что лежала на детях. Носки двери загнулись, как лыжи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.